Рыжечка

Петр Первый, несколько лет сряду, вел брань-войну со шведом. Этому, вишь, за досаду и за великую грубу стало, когда Петр Первый задумал отнять у него несколько губерний чухонских. Вот из-за этого-то самого дела они и дрались несколько лет сряду не на живот, а на смерть. Испокон века ни одна война не проходила и теперича не проходит без того, чтобы наших казаков не требовали в армию: без казаков, словно без соли, нельзя обойтись. Так было и в ту пору. Много наших полков перебывало в расейской армии: и пятисотенные, и семисотенные, и тысячные, — всем было место и дело. Нигде никогда от наших казаков прослуги не было, окромя лишь отлики. Прикажут ли, бывало, им неприятеля скрасть — как с полки сдунут; пошлют ли, бывало, соколиков куда, хоша бы и за море, примерно, языка добыть, — и языка добудут. Такие уж были ловчаги, что днем с огнем поискать, и то вряд ли найдешь. А все Бог им помогал за их простоту. Ведал о том и сам царь.

Раз, зимнею порой, шведский город Карантин брали. Вот тут-то наши казаки оченно себя показали. В одних легоньких, сударь мой, летних кафтанчиках да курточках, без шапок, с открытыми иль-бо с перевязанными платком головами, они, аки львы могучие, аки звери дубравные рыскали впереди армии и душили шведов, словно мух, а работали, заметь, касатик, одними только пиками, точь-в-точь как в старинных песнях поется, примерно о Ермаке Тимофеевиче, что говорил царю Ивану Васильевичу Грозному:

Возьмем-де тебе Сибирь-город без свинца, без пороха,
Возьмем-де белой грудью, с камчатной с одною плеточкой... [...]

В тот день мороз был лютый, бороды у наших казаков заиндевели, а от самих от них пар валом валил, словно с каменки, а на пиках у них намерзли длинные-предлинные кровяные сосульки: много больно, вишь, шведов-то покололи. Да, истинно так было.
Петр Первый стоит на горе и смотрит на них в подзорную трубу. «Какие это казаки?» — спрашивает царь своих приближенных. — «Яицкие!» — говорит ему граф Шереметев. — «Я так и думал, — говорит царь. — Позвать, — говорит, — ко мне ихнего походного атамана, когда кончится дело». Ладно. Карантин взяли; шведов — которых побили, которых в полон позабрали, а король их бежал за море, восвояси. Так, значит, и быть должно.

Собирались у царя, после баталии, все енералы и сенаторы. Пришел и Прохор Митрич наш. Царь спрашивает его: «Как тебя, казацкий атаманушка, зовут по имени и величают по отчеству?» — «Вот так-то», — говорит Прохор Митрич. — «Спасибо, Прохор Митрич, за вашу службу: я ее не забуду, — говорит Петр Первый. — Возьми, — говорит, — на первый случай, по золотой на казака; это, говорит, от меня им на водку, а себе, на память, вот эту вещицу». Тут царь из собственных своих ручек подал Прохору Митричу литую золотую чару с царским ербечком и имечком.

«Больше этого, — говорит Петр Первый, — теперича дать не могу; не бессудьте; казна, вишь, на исходе. А вот как пошабашу совсем шведа, возьму с него контрибуцу, принужу его платить мне дань во веки вечные, тогда, — говорит, — расплачусь с вами, никого не забуду». — «Много довольны твоею милостью, надежа-царь, — отвечает Прохор Митрич. — Мы не из интереса служим, мы, как есть рабы твои верные, готовы за тебя кровь проливать до последней капельки...» — «Ладно, ладно! — говорит царь. — После сочтемся, а теперича, Прохор Митрич, оттрапезуй-ка с нами, чем Бог послал». Ладно. Сели, как в сказках говорится, за столы дубовые и скатерти бранные, за яства сахарные и питья медвяные; стали пить, есть и прохлаждаться и речами хорошими, разумными забавляться.

Под конец честного столованья Петр Первый и говорит Прохору Митричу: «Шведа хоша мы и не совсем добили, однако вряд ли он, после нынешней бани, скоро оправится. Можно, значит, и нам отдохнуть немного. Ступай, Прохор Митрич, поведай своих-то молодцов на Яик, — пускай отдохнут на родной сторонке, поживут в домах, в семействе, поисправят свое хозяйство и все такое; чай, с войной-то и они, бедняжки, поиздержались, поистратились, а я, — говорит, — не хочу, чтобы казаки мои голодали и без нужды нужду терпели». [...]

Швед приутих, войска расейские разошлись по своим фатерам, а Прохор Митрич вернулся с казаками на Яик.

Год спустя Прохор Митрич приехал в Питер в зимовой станице с кусом и явился к царю. Само собой, царь обрадовался Прохору Митричу, словно родному, и повел его из парадных покоев в другие. Посадил его там за стол, стал расспрашивать, что и как на Яике, здоровы ли казаки-молодцы, есть ли у них хлеб, одежа, гораздо ли рыба ловится и все этакое. Потом стал угощать. Налил большую чару зелена вина и поднес Прохору Митричу. А Прохор Митрич не принимает чары, говорит: «Не подобает мне, надежа-царь, рабу твоему, пить прежде тебя, моего государя и повелителя; ведь я

чувствую, кто я и кто ты». Ладно. Царь сам наперед выпил.

Налил другую чару и поднес Прохору Митричу. Прохор Митрич выпил, но не всю: на донышке немного осталось. Царь спрашивает: «Что же не всю?»

Прохор Митрич отвечает: «Не осилил».

Царь говорит: «Да как же я-то осилил?» Прохор Митрич говорит: «Да ведь ты, надежа-царь, слывешь у нас за богатыря, а я только за полбогатыря». — «Ой ли?» — говорит царь. «Истинно так!» — говорит Прохор Митрич. «Хорошо, — говорит царь. — Пойдем теперича прогуляемся; узнаем, кто из нас богатырь и кто полбогатыря».

Пошли они с заднего крыльца на Неву-реку. Подошли к лестнице: надо спускаться вниз. Царь сделал ручкой знак, чтобы Прохор Митрич шел вперед, и Прохор Митрич закобенился, стал по край лестницы да говорит: «Не подобает мне, надежа-царь, рабу твоему, идти впереди тебя, моего государя и повелителя; ведь я чувствую, кто я и кто ты». Царь улыбается и говорит: «Не подобало тебе, Прохор Митрич, прежде меня пить чару зелена вина — это так, а идти впереди меня подобает, даже артикул военный повелевает: ты должен очищать дорогу, не притаился ли где ворог какой».

Прохор Митрич стал первый спускаться по лестнице, а Петр Первый пошел за ним, да каждый раз — ей-ей! какой ведь и царь-то был разумник, забавник, — каженный раз, как спустит ножку-то со ступеньки, ручкой-то шутки ради известно, ручкой-то и упрется в плечо Прохору Митричу, и тиснет, да так тиснет, что у Прохора Митрича косточки захрустят. Покуда они сошли на низ, у Прохора Митрича плечо-то отнялось, на кате! А самого-то его набок перекосило, на-кате! Думали, что Прохор Митрич после того не окаляшается, сляжет и совсем изведется. Ан нет, не тут-то было. На другой день он встал здоровехонек, только немного набок перегибался; ну, да это нипочем. Старики сказывали, что Прохор Митрич на всю жизнь остался несколько на один бок крив. Однако был здоров.

Когда поутру на другой день он пришел к царю, тот индо удивился: «Ай-ай! Молодец же ты, Прохор Митрич! — говорит царь. — Я думал, ты сляжешь и не встанешь, а ты молодец молодцом. Вчера ты объявил себя полбогатырем, а ты, вижу, полный богатырь. Однако шутки в сторону, — говорит Петр Первый. — Вчера, как мы с тобой расстались, вчера, слышишь, прибежал ко мне кульер из иной земли, привез нерадостную весть: швед опять на меня поднимается. Идет он, слышу, не прямою дорогой, не со своей границы, а

пробирается, шельмец, обаполом, к польской границе, думает отвести у меня глаза, врасплох застать. Дудки! Не на того напал, не надует. Я пойду на переём ему, и где устигну, тут и пошабашу! Нечего, — говорит, — с ним церемониться, много давал ему поблажки, — не чувствует, шельмец... Поезжай, Прохор Митрич, на Яик, — говорит Петр Первый, — снаряди полк иль-бо два яицких казаков и, как можно скорее, являйся с ними ко мне под город Платаву; знаю, швед до Платавы грабится». [...]

Лишь только Прохор Митрич приехал на Яик и объявил царское повеление, как в одну неделю снарядили два пятисотенных полка и отправили под город Платаву. Походным атаманом, знамо дело, пошел Прохор Митрич. За башней на лугу служили молебен. Прохор Митрич сам держал войсковую харунку. На дворе было тихо-претихо. Но когда запели: «На супротивные давай!» — в тот миг вдруг повеял с западной стороны, сиречь оттуда, где город Платава, повеял, говорю, легонький ветерок, зашевелил харунку, поднял-поднял на воздух, всполоснул раза два, да и обвил ее вокруг Прохора Митрича, да и затих. Прохор Митрич и стал словно спеленанный. В то же самое время, сударь мой, и лошадь Прохора Митрича, — а лошадь Прохора Митрича держал Рыжечка, он был на ту пору вестовым у него, — и лошадь, сударь мой, заржала... и подала хороший знак. Тут все войско возрадовалось и заговорило: «К добру! к добру! к добру!»

Полки тронулись и пошли. Прохор Митрич остался. Сошлись около него старшины и почтенные старики: известно, выпивку на прощанье сочинить. Когда Прохор Митрич простился со всеми и сел на коня, старшины и все обчество говорят ему: «Есть когда Господь Бог поможет там вам сделать какую ни на есть отличку, то, говорят, главного-то, Прохор Митрич, не забудь, напомни, говорят, батюшке нашему, Петру Алексеевичу, чтобы не нудил нас насчет креста и бороды». — «Будьте благонадежны, атаманы-молодцы: эта мысль у меня и у самого из головы не выходит», — сказал Прохор Митрич и поехал к полкам. «Будьте благонадежны, атаманы-молодцы: эта мысль и у меня из головы не выходит», — сказал тоненьким голоском и Рыжечка, сел на лошадь, заломил на ухо шапку да и поскакал за Прохором Митричем. Тут все индо засмеялись. «Куда тебе! Пузырь!» — кричат взад Рыжечке. Но Рыжечка махнул рукою и удрал. Рыжечка был маленький человек, точь-в-точь сам с ноготок, а борода с локоток. Оттого и прозвали его в шутку Рыжечкой, сиречь грибок рыжик. Это имя так и осталось за ним на всю жизнь. А настоящее его прозвание было Замаренов Егор Максимович.

Идут полки наши к городу Платаве, идут лугами, болотами, идут они топятся, к городу Платаве торопятся, точь-в-точь как в песне поется про проход к городу Азову. Да, идут полки наши к Платаве, а под Платавой, сударь мой, чудеса творятся. Швед успел упредить Петра Первого и застроил что ни лучшие места шанцами да бутареями. Поди ты, толкуй что хочешь, а швед успел упредить, даром что неверный. Еще сударь мой, — так должно быть, тому уж быть, — еще, сударь мой, случилось тут казусная оказия: царю нашему сделать измену хохлацкий атаман, Мазепа, и предался со своими полками шведу. От этого самого рати шведской прибыло, а рати расейской убыло. Что тут станешь делать? Как ни шатай, как ни валяй, а приходится сказать: плохо. Петр Первый было и так, и сяк, а дело все-таки выходит плохое. Как ни кинь, все выходит клин.

Петр Первый собрал было енаралушков и всех думчиих своих сенаторушков, чтобы собча придумать что ни на есть к лучшему, чтобы как ни на есть не потерять свою армеюшку и не дать шведу над собою возвыситься, а тут, сударь мой, как раз, — так должно быть, тому уж быть, — тут как раз прибегает от шведа переговорщик: не угодно ли, дескать, кончить спор поединщиками? Давай Бог! Это нам на руку, Петр Первый рад был этому, по той самой причине, что ему жаль было губить понапрасну армию. А швед делал это поневоле. […]

«Ты, — говорят шведские енаралы своему королю, — ты и так много погубил армии, много казны поистратил, а все понапрасну. Где тебе, — говорят, — тягаться с Расеей; ведь она всем государствам голова. Оставь, — говорят, — лучше и не затевай больше коловратностей: нашему царству и без того жутко». Но король шведский был лукав; прикинулся мелким бесом, успел уговорить, умаслить своих думчиих сенаторов; те сжалились над ним и дали ему армию, пушек и все прочее; однако взяли от него, по ихнему закону, запись, чтоб он, ни под каким видом, не смел вступать с Петром Первым в баталию, а решил бы спор поединщиками; а есть когда осмелится преступить эту заповедь, то, не прогневайся, с царства долой. «Лучше-де, — говорят, —две-три головы потерять, чем всю армию погубить». […]

Стали готовиться к поединку. Швед знал, что без поединщика ему не обойтись, поэтому самому загодя еще приготовил какого-то силача, с собою, вишь, из-за моря вывез; ростом, сударь мой, чуть-чуть не с колокольню, а в плечах коса сажень. Поил-кормил его до отвала, нарочно, словно на убой, что ни лучшими яствами и питьями; а обрядил его, собаку, в кольчугу да в латы, так что и сам черт не добрался бы до его кожи. И конь под ним был не

конь, а сущий слон, да и тот покрыт панцирною попонкой. Просто, сударь мой, на оказию! Как появился этот уродина перед нашею армией, так все с диву упали. Думали, что это какая-нибудь башня на колесах, а не человек. Такой был этот поединщик престрашнейший, преогромнеющий, что и сказать нельзя. На что уж агарянские поединщики, которых наши Иваны укокошили на Куликовом поле, на что уж, говорю, агарянские поединщики походили на индрика зверя, но и те, сударь мой, в подметки этому не годились. Право слово.

Петр Первый видит, что вся армеюшка его струхнула, что найти такому чудовищу супротивника трудно; однако все-таки велел клич кликать: «Нет ли де охотника?» Как же! Сейчас и явились. Разослал царь по армии всех своих адъютантов, всех енаралушков и всех думчиих сенаторушков; и все воротились ни с чем: нет охотников, да и на-поди! Петр Первый обратился к своей свите и спросил: «Из вас, господа, нет ли кого?» Ни гугу! Все молчат, да старший за младшего хоронится.

Петр Первый не вытерпел, сам поскакал по всем полкам своим и стал вызывать охотника, а охотника нет да нет. В это самое время, так, сударь мой, должно быть, тому уж быть, в это самое время подошел Прохор Митрич с нашими казаками и стал подле крайнего армейского полка. Царь лишь только узрел наших, тое ж секунду подскакал к ним, рассказал, в чем дело, и кликнул: «Нет ли охотника?» — «Я охотник!» — вскричал тоненьким голосом Рыжечка и выскакал из фрунта. Царь взглянул на него, покачал головой, да и сказал: «Мал!»

Петр Первый вдругорядь едет по полкам, вдругорядь кличет охотника, а охотника все-таки нет. Сверстался с нашими полками и кличет: «Кто охотник?» — «Я!» — кричит Рыжечка и выскакивает из фрунта… Царь опять посмотрел на него, опять головой покачал, опять сказал: «Мал!»

В третий раз царь объехал свою армеюшку, в третий раз кликал охотника, а охотника все-таки нет. В третий раз царь остановился перед нашими полками, в третий раз кликнул: «Кто охотник?» —«Я!»— закричал Рыжечка и вылетел из фрунта.

Царь призадумался, посмотрел на Рыжечку, посмотрел и на шведского поединщика, покачал головкой, вплеснул ручками, да и говорит своим приближенным, чуть-чуть не со слезами: «Что буду делать? Отказаться от поединка, вся Европия станет смеяться; пустить этого малыша (царь показал на Рыжечку), пустить этого — заранее пиши пропало!»

Рыжечка тут стоит, слышит царские речи, да вдруг и говорит: «А Бог-то что? При помощи Божией Давид победил же Галифа!» Говорит так-то Рыжечка, а сам индо дрожит: яройское сердце, значит, в нем закипело. Царь пристально посмотрел на Рыжечку, да и говорит: «Храбрости-то в тебе, молодец, вижу, много, да силы-то, може, мало: вот в чем беда! Ты взгляни хорошенько, супротив кого хочешь идти, — вон он разъезжает, — а потом уж и скажи: надеешься ли победить». А Рыжечка толкует себе одно: Давид, дескать, победил же Галифа. Так отчего бы и ему, за молитвы святых отец, не победить этого супостата; надеюсь, дескать, ваше царское величество. Только-де, говорит, позволь мне коня другого выбрать изо всех полков.

Нечего было делать, другого охотника нет; царь согласился и на Рыжечку, а пуще всего царю понравились Рыжечкины речи насчет Давида и Галифа; а насчет коня царь сказал, что дозволяет ему выбрать какого угодно, хоша бы и с царской конюшни. Но Рыжечка отказался от царского коня и сказал: «Твои лошади, надежа-царь, только для парада хороши, а для ратного дела, не прогневайся за слово, никуда не годятся». Тое ж секунду Рыжечка бросился к казачьему фрунту и выбрал лошадь у калмычинина. Стали переседлывать. В это время Рыжечка успел перешепнуться с калмычинином о чем было нужно: «Какой обычай у твоей лошади?» — спросил Рыжечка калмычинина. «Знай сиди!» — говорит калмычинин. «Водам идет, огням идет». — «Еще?» — «Вилка дает. Бьешь правым нога — левая идет; бьешь левым нога — права идет. Догадался?» Рыжечка только кивнул головой, вскочил на калмыцкую лошадь и выехал в поле.

Тут, сударь мой, встрепенулись и заколыхались обе армеюшки, — и расейская, и шведская. Распустили все свои знамечки. Заиграли на трубах, литаврах и на разных мусикийских органах. Потом все затихло: значит, бой скоро будет.

Рыжечка взоткнул на пику шапку, замахал над головой и подъехал к шведскому поединщику. Спрашивает его: на чем им биться, на копейцах ли булатных иль на сабельках вострых. Швед замычал что-то на своем телячьем языке и махнул рукой своим: вишь, он не понимал Рыжечку. И Рыжечка махнул рукой своим. Тое ж секунду прискакали к ним два енарала: один с нашей стороны, а другой с шведской, потребовали толмача. Толмач выслушал Рыжечку и пересказал шведскому поединщику. А тот, уродина, оперса на копье, оскалил зубы-то, да и говорит: «По мне на чем хошь! Хошь на кулаках, я на все согласен». Толмач пересказал Рыжечке. Тот обиделся и говорит: «Коли жив будешь, приезжай к нам на Яик. Там, — говорит, — на

кулачном бою можешь пробовать своими только боками наши кулаки, а здесь, — говорит, — не угодно ли помериться вот этим?» Тут Рыжечка потряс своим копейцем. Рыжечка опять вернулся к казачьему фрунту и переменялся с одним казаком пиками. Рыжечку спросили енаралы, зачем он переменил копье. Рыжечка сказал: «Так надо!»

Рыжечка и на переговоры-то к шведу ездил с подвохом, ненеспроста. Сказано, швед был весь в железе, и рожа-то у бестии завешана была железною решеткой. Однако и Рыжечка был не промах. Покуда переговаривались, он успел осмотреть супротивника своего со всех сторон. На башке у шведа была стальная шлычка, а по щекам и по затылку спускались железные дощечки; задняя-то дощечка немного оттарлычилась, а это Рыжечке и на руку. Он тотчас смекнул, что тут, не говоря худого слова, можно запустить пику. А как у Рыжечки пика была толстовата, дупестовата, то он и отдал ее казаку, а у него взял его, потоньше. Значит, Рыжечка был себе на уме. Ладно.

Перед началом боя Рыжечка, как подобает христианину и воину, слез с коня, воткнул в землю пику, повесил на нее образ Михаила Святителя, положил семь земных поклонов и раскланялся на все четыре стороны. Потом, сударь мой, оборотился лицом к востоку, сиречь в ту сторону, где наш родной Яикушка, оборотился лицом к востоку, да и говорит: «И вы братцы-товарищи, старики наши старожилые, и все общество наше почтенное! Помолитесь, чтобы Господь Бог соблаговолил!» Это уж он говорил заочно к тем, что на Яике остались. [...]

Затем Рыжечка посбросал с себя всю одежду, остался только в одних шароварах да в кармазинной безрукавной фуфаечке. Шапка, на что уж шапка, он и ту бросил и перевязал голову барсовым платком. Рукава у рубахи засучил по локти. Перетянулся шелковым пояском, за пояс заткнул длинный хивинский нож, а в руки взял копейцо. Вспрыгнул на лошадь, оправился на седельце; напоследок перекрестился и крикнул: «Дерзайте, людие, як с нами Бог!» — да и полетел на супротивника, точь-в-точь как маленький ястребок на орла заморского, точь-в-точь как в ветхозаветное время Давид на Галифа, сиречь на Галейку, татарина, — все едино. И Галиф помчался на Рыжечку, уставил против него копьище с добрую жердь.

Рыжечка лишь только подскочил к Галифу, сей же миг дал вилка вправо: Галиф, словно бык-дурак, пронесся мимо. Рыжечка обернулся да как далдыкнет его копейцом в затылок, где дощечка-то от шлычки оттарлычилась: Галиф и покатился с лошади кубарем. Рыжечка в един миг

спрыгнул с своего коня, как клещ насел на плеча Галифа и отляпал ему ножом голову. Знай наших! Вперед дуракам наука: не хвались идучи на бой, хвались идучи с боя.

Тут армия наша возрадовалась, зашумела, словно волна морская, заходила и «ура!» закричала. А шведская армия, знамо дело, приуныла, затихла, харунки свои к земле приклонила, словно голубушка, несолоно хлебала. Только один король шведский заклянчил, сударь мой: такой беспокойник был. Не хочет кориться, кричит: «Подвох! Подвох! Русак сзади ударил нашего! Подвох!..» А енаралы и сенаторы его и говорят ему: «Что, что сзади? У нашего и сзади был панцирь. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Не клянчай, король. Эй, лучше будет, покорись».

А король и слышать не хочет, ревет в неточный голос, словно кто с него шкуру дерет, рвет на себе волосы, словно сумасшедший мечется во все стороны, словно угорелый кричит: «Пали!», а его никто не слушает. Сам побежал на главну свою бутарею, вырвал у канонера фитиль, приставил к пушке и открыл по нашей армии огонь. Тут уж и нашего царя взяло за ретивое. Подал он своим енаралушкам знак к бою, да и скомандовал: «Катай! Без пардона катай! На зачинающего Бог».

Вот тут-то, сударь мой, наша армеюшка и пошла чесать шведскую, — и пошла, и пошла чесать! Дым коромыслом стал! Всю, сударь мой, лоском положили!

Хошь один ли на одного, стена ли на стену идет — все равно, лиха беда только одному кому или одной какой стороне струсить; а там смело говори: пропал. Так было и со шведской армией. Спервоначала она оченно храбрилась, голову оченно высоко поднимала, а как ярой наш Егор Максимыч Замаренов, сиречь Рыжечка, сверзил ихнего великана и отляпал ему голову, так, что и толковать, у шведской армии душа ушла в пятки. Ну, нашей-то армии это и на руку. Пошабашила она армеюшку короля шведского, словно пить дала. А король шведский, сам-друг с изменником Мазепой, еле-еле удрал в Турскую землю. Там, говорят, оба они с Мазепой в кабалу пошли к турку; там, говорят, и пропали. Туда, значит, дорога...

А главная статья в этом деле, что там ни толкуй, все-таки ярой наш Рыжечка; он, значит, сделал первый начин; от его, значит, молодецкой руки пал Галиф, от его, значит, лыцарского подвига в страх-ужас пришла шведская армия. Лишь только немного поуспокоилось, Рыжечка и явился к Петру Первому с головой Галифа на копье. Царь во слезах-то, — с радости,

значит, — царь во слезах-то не видит его и спрашивает приближенных: «А где наш малыш? Где бесценный Рыжечка?» — «Здесь!» — пищит Рыжечка. «А! Голубчик мой! Сокровище мое!» — говорит царь и целует Рыжечку в голову. Рыжечка поцеловал ручку у царя. Когда совсем поуспокоилось, царь позвал Рыжечку в свою палатку и, при всех енаралах и сенаторах, при всех иных земель посланниках, спрашивает его: «Чем тебя, друже мой, дарить-жаловать? Говори! Ничего не пожалею». Рыжечка поклонился царю и говорит: «Мне, надежда-царь, ничего не надо, а пожалуй, коли на то милость твоя, пожалуй наше обчество». Царь спрашивает: «Чем? — говори». Рыжечка говорит: «От предков твоих, благоверных царей, мы жалованы рекой Яиком, с рыбными ловлями, сенными покосами, лесными порубами; а владена у нас на то пропала. Пожалуй нам, надежда-царь, за своею высокою рукой, другую владену на Яик-реку». — «С великою радостью! — говорит царь. — Секлетарь, бери перо, бумагу и валяй от меня яицким казакам владену на Яик-реку, со всеми сущими при ней речками и проточками, со всеми угодьями, на веки вечные!» Секлетарь написал.

Царь говорит Рыжечке: «Этого мало. Еще что? Проси!» Рыжечка говорит: «Еще, надежда-царь, пожалуй, коли милость твоя, пожалуй нас крестом да бородою». Царь говорит: «Для кого нет, а для яицких казаков есть! Секлетарь, пиши во владеной, что я жалую яицких казаков крестом и бородою на веки вечные, чтоб им насчет креста и бороды быть невредимыми». Секлетарь написал. […]

Написамши во владеной крест и бороду, царь спрашивает Рыжечку: «Это для обчества. А тебя-то, Егор Максимыч, чем дарить-жаловать? Проси! Ничего не пожалею». Рыжечка отвечает: «Есть когда, надежда-царь, на то твоя милость, позволь мне с дюжинкой иль с полдюжинкой моих друзей-товарищей погулять на твой счет в твоих царевых кабаках, безданно-беспошлинно, недельки две». Царь улыбнулся и спрашивает: «Разве любишь?» Рыжечка отвечает: «Грешный человек: люблю!» — «Гуляй во здравие, — говорит царь. — Секлетарь, пиши, — говорит, — заодно уж, во владеной, чтоб выход винный на Яике отныне на веки вечные был казачий». И выход винный написали во владеной. […]

Шведа, значит, совсем пошабашили, и память его погибе с шумом. Петр Первый возвысился, по всей Европии прославился, анператором нарекся, а этого титла, значит, нет на свете больше.

Несколько недель, изо дня в день, под Платавой пировали, из ружей, из пушек палили, на трубах, литаврах и разных мусикийских органах играли и

разными потешными огнями забавлялись. Напоследок все затихло. Войска разошлись по своим фатерам. И Прохор Митрич с полками нашими вернулся на Яик.

Год спустя вернулся на Яик и Рыжечка сам-друг. [...] Петр Первый дал ему за своим подписом и царскою печатью открытый лист: «Чтобы этому ярою, славному поединщику, сиречь Егору Максимычу Замаренову, он же и Рыжечка, с дванадесятью товарищами пить, безданно-беспошлинно, во всех царевых кабаках и трактирных заведениях целый год». Славно! Забравши в руки такую бумагу, Рыжечка с товарищами и оторвался от полка и пошел странствовать из города в город, из села в село, от одного кабака к другому, и таким, сударь мой, манером прображничал по Расее круглый год. Вернулся домой уж тогда, как открытый-то лист, что Петр Первый дал, вышел из срока, потерял силу, не стал действовать. В компании у Рыжечки был тот самый калмычинин, что лошадь давал ему на Галифа. Вот с этим-то калмычинином Рыжечка и вернулся на Яик: оба, вишь, были насчет выпивки молодцы, тягущи; а все прочие, что были в их компании, все прочие, чтоб одрало их, дураков, не вынесли, перепились и сложили свои головы кто в кабаке, кто в трактире, а кто у мамошков... Такой уж народ был беззаботный, бесшабашный [...] .

Жил он после того, сударь мой, на Яике лет десять благополучно. Правда, вел он часто спор с киргизским ханом Абдул-Харей, да это Рыжечке было за потеху. Спорил он с ханом из-за лугов: гонял от них хана и его орду. Раз захватил в лугах на бухарской стороне сорок что ни лучших ханских аргамаков да столько же крупных быков. Быков перерезал, а аргамаков раздал по казакам. Хан вступился. Рыжечка отделался. Он и все наше обчество сказали хану: «Не пущай в наши луга. Есть когда вперед так сделаешь, и вперед то же будет». Хан пожаловался вышнему начальству, и вышнее начальство сказало то же. Значит, что там ни толкуй, а бухарская сторона из предков наша, Хан присмирел, грыз зубы на Рыжечку, а ничего не поделал.

Он тоже был мужик славущий по всей орде, и киргизской, и хивинской; однако нашего малыша, сиречь Рыжечки, боялся. Случалось, бывало, как-нибудь, нечаянно, встретиться с Рыжечкой в степи, сейчас, собака, вилка даст в сторону, обаполом объедет, а Рыжечке в глаза не смеет взглянуть. Хан знал, что Рыжечка и Галифа шведского свалил, так куда, думает, тягаться с таким яроем. Дулся, дулся хан, да и отступился, махнул рукой и в степь удалился. А Рыжечка? Пошел по указу царя с князем Бекичем в Хиву и

там, голубчик, за компанию с князем и всем честным воинством сложил свою буйную головушку.

(Зап. от Н. И. Чакрыгина на р. Урал.)

Уральцы: Очерки быта уральских казаков // Полн. собр. соч. И. И. Железнова. 3-е. изд Спб., 1910. Т. 3.